

**ТЕОРИИ ЗАГОВОРА
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ:
МОТИВЫ, СЮЖЕТЫ И ТОПОСЫ**

7 декабря 2017 года

Тезисы докладов

Константин Богданов

СОБАЧЬЕ БЕШЕНСТВО: СТРАХ, ЛЕЧЕНИЕ, ПОДОЗРЕНИЕ

История антирабической вакцинации может служить примером, когда метод лечения получает широкое распространение до установления возбудителя болезни. Вместе с тем та же история демонстрирует механику распространения устойчивых конспирологических теорий, относящихся к медицине. Со времени своего появления метод Пастера не внушал всеобщего доверия уже в силу того обстоятельства, что всемирно прославленный ученый был по образованию не врачом, но химиком, и при этом боролся с тем, чего он не видел. Станным было и то, что вакцина прививалась пациентам после начала предполагаемой у них болезни, а не до ее возникновения, как это практиковалось, например, при прививках оспы. Статистика, призванная показать успешность нового метода, также оставалась малоубедительной по той причине, что привитые Пастером пациенты могли быть равно объявлены как излечившимися, так и не заболевшими.

Претензии к Пастеру – то, что он химик, а не врач, то, что приводимая им статистика выздоровлений не поддается проверке в виду ее тенденциозности (неопределенности того обстоятельства, насколько спасительными являются прививки при учете сомнительной болезни животного и возможности выздоровления непривитого пациента), – усугублялись поведенческой стратегией самого исследователя, эффектно позиционировавшего себя в качестве непогрешимого экспериментатора и страстного патриота, добившегося беспрецедентной финансовой поддержки со стороны французского правительства.

Принятая Пастером роль «спасителя человечества» раздражала многих. В пылу полемики недоброжелатели исследователя утверждали, что и сама болезнь, называемая водобоязнью, преимущественно есть болезнь воображаемая (*Lyssophobia*, *Hydrophobia imaginaria*), вызываемая самовнушением – страхом безумия и мучительной смерти от укусов животных, что бешеные животные встречаются исключительно редко, а то, что в прошлом считалось смертью от бешенства, должно объяснять смертью от столбняка (*tetanus*) или других неврологических расстройств, которые, возможно, также вызываются инфекциями (истерия, эпилепсия). Наконец, кульминацией антипастеровских высказываний стали конспирологические (и по закону жанра, часто взаимоисключающие) обвинения в неблагоприятных и даже преступных поступках исследователя – от якобы присвоенного им метода вакцинации и до намеренной подтасовки результатов лечения и сокрытия вызываемой им гибели пациентов ради почета и наживы.

В докладе речь пойдет о том, кто и почему являлся и является приверженцем конспирологической уверенности во вреде лечения собачьего бешенства методом вакцинации.

Валерий Вьюгин

ФАКТЫ И ФИКЦИИ. (К РИТОРИКЕ «КОНСПИРОЛОГИЧЕСКОЙ ДРАМЫ» 1920-Х – 1930-Х ГОДОВ)

В своем докладе я продолжу разговор о «конспирологической драме» как об особом жанре советской драматургии 1920-х – 1930-х годов, сосредоточившись на двух вопросах. Во-первых, я постараюсь более четко определить специфику подачи конспирологических сюжетов и топики в театре по сравнению с тем, что предлагала советская киноиндустрия. Во-вторых, я остановлюсь на некоторых приемах убеждения, которые использовали советские драматурги, участвуя в создании «параноидальной» реальности, навязываемой политикой сталинского режима в целом.

Ирина Козлова

«ПУСТЬ НЕ ВСЕ МЫ УМЕЕМ СЧИТАТЬ ДО ПЯТИ, НО МЫ СЕРДЦЕМ ПОЧУЕМ, КТО ИЗ ПЯТОЙ КОЛОННЫ»: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «ПЯТОЙ КОЛОННЕ» В СМИ, НА УЛИЧНЫХ АКЦИЯХ И В ИНТЕРНЕТЕ

В последнее десятилетие в России мы наблюдаем очередной взлет конспирологических нарративов, который хорошо виден в средствах массовой информации, в листовках и на плакатах патриотических движений и в творчестве интернет-пользователей. Одно из понятий, к которому любят обращаться граждане, позиционирующие себя как патриоты, особенно патриоты-государственники – это «пятая колонна». Упоминание о «пятой колонне» сегодня можно услышать и в выступлениях депутатов Государственной думы и на уличных митингах, и в статьях и роликах, выложенных в интернет обычными пользователями сети.

«Пятая колонна» является неотъемлемой частью речей депутата Государственной думы от «Единой России» Евгения Федорова и общественного деятеля и писателя Николая Старикова, а также их политических последователей: членов Народно-освободительного движения (НОД) и Партии великое отечество (ПВО). О «пятой колонне» говорят в официальных речах также депутат и лидер фракции ЛДПР В.В. Жириновский, генерал К.П. Петров (движение КПЕ), военный и общественный деятель И.И. Стрелков. В 2014 г. О пятой колонне в выступлении с трибуны сказал президент России В.В. Путин.

Понятие «пятая колонна» пользуется популярностью также в творчестве наивных поэтов и прозаиков: на сайтах «Стихи.ру», «Проза.ру», а также в социальных сетях можно найти множество стихов и публицистических текстов про «пятую колонну». В частности, только на сайте «Стихи.ру» ей посвящено на настоящий момент (ноябрь 2017) больше 80 стихов. Отношение авторов к этому понятию разное: кто-то всерьез призывает в стихах быть бдительными и не дать «пятой колонне» разрушить Россию, кто-то иронизирует над этим понятием, но в независимости от отношения к нему, кажется несомненной его актуальность для интернет-пользователей.

В докладе я планирую рассмотреть употребление термина «пятая колонна» в современном официальном дискурсе и его осмысление интернет-пользователями и политическими активистами.

Александр Панченко

МОРАЛЬНЫЕ ПАНИКИ, ОСТЕНСИЯ И ТЕОРИИ ЗАГОВОРА

Задача доклада – проанализировать и обсудить перспективы взаимного наложения нескольких аналитических инструментов, используемых социологией, антропологией и фольклористикой в исследовании «коллективных тревог», выражающихся, передающихся либо формирующихся посредством слухов и легенд, а также массовых паник и политических кампаний. Главные из этих инструментов – это социологическая концепция моральных паник и используемое современными фольклористами понятие остенсивного действия.

Термин «моральная паника» (*moral panic*) получил популярность в англоязычной социологии в первой половине 1970-х гг. – после публикации книги Стэнли Коэна о массовых страхах и тревогах, связанных с молодежными субкультурами в послевоенной Британии. «Время от времени, – писал Коэн, – общества переживают периоды моральной паники. То или иное обстоятельство, эпизод, человек или группа начинают восприниматься в качестве угрозы общественным ценностям и интересам; характер этой угрозы подается средствами массовой информации в условной и стереотипной манере; на моральные баррикады поднимаются редакторы, епископы, политики и прочие благонамеренные люди; общественно признанные эксперты предлагают свои диагнозы и решения; вырабатываются или – чаще – используются уже готовые способы борьбы... Иногда предмет паники – это нечто достаточно новое, а в других случаях он уже существовал долгое время, но внезапно оказался в центре внимания. Иногда паника проходит и забывается, сохраняясь лишь в фольклоре и коллективной памяти; иногда паника имеет более серьезные и далеко идущие последствия: она может привести к изменениям в судебной и социальной политике и даже в том, как общество воспринимает само себя». Надо сказать, впрочем, что за прошедшие полвека предложенная Коэном модель была существенно скорректирована социологами и политологами.

Специалисты, занимавшиеся историей стигматизации и преследования меньшинств, разными типами фундаментализма, а также проблемой социального насилия в целом, писали о подобных процессах и до Коэна, – особенно если говорить о достаточно широком хронологическом контексте. Однако концепция моральных паник позволила несколько иначе расставить акценты применительно к этой проблеме. Во-первых, она подчеркивает роль воображаемого ценностного кризиса в формировании соответствующих тревожных ожиданий. Во-вторых, речь шла о не очевидных и требующих специального объяснения причинах такого кризиса. Что предопределяет – на первый взгляд, случайный – выбор предмета моральной паники? Почему та или иная угроза внезапно становится столь значимой, и как это связано с реальными либо воображаемыми ценностями, разделяемыми обществом? Наконец, концепция Коэна делала специальный акцент на социальных и медиальных факторах, определяющих формирование и распространение моральных паник. Если реальное общественное значение предмета паники по определению не соответствует его воображаемой опасности, то почему одни паники оказываются, так сказать, успешными, а другие – нет? Что именно определяет массовый социально-психологический эффект воображаемой угрозы? И, наконец, какова социальная драматургия моральной паники? Кто оказывается ее актерами, бенефициарами и жертвами? Как устроены социальные механизмы моральных паник?

Заемствованное у семиотиков понятие «остенсия» (*ostension*) или «остенсивное действие» (*ostensive action*), было введено в обиход фольклористики Линдой Дег и Анджеем Важони в первой половине 1980-х гг. Речь идет о случаях, когда средством, скажем так, трансляции того или иного сюжета либо мотива оказывается не устная,

письменная либо визуальная коммуникация, а непосредственное действие, когда не поведение становится источником нарратива, а, наоборот, – нарратив провоцирует или продуцирует поведение. При этом, однако, понятие остенсии подразумевает не только «презентацию, противопоставленную репрезентации», или «демонстрацию реальности взамен означения», но и набор соответствующих рецептивных фреймов.

Анализ легенды как текстуальной формы или риторического аппарата, исходящего из «нестрогой достоверности» сообщаемой информации и, вследствие этого, открывающего широкие возможности для, скажем так, общественной дискуссии о границах реальности, о том, что может и чего не может быть, открывает существенные перспективы для совмещения теоретических моделей моральной паники и остенсивного действия. Концепция остенсии подразумевает, что мотивы и сюжеты легенд не просто отражают или трансформируют реальность, но создают эту последнюю, прокладывая мостик между коллективным воображением и коллективным действием. Впрочем, действие это неоднородно и нуждается в типологическом анализе. Различные виды остенсии подразумевают сосуществование различных (индивидуальных или коллективных) акторов, действующих в собственных интересах и преследующих определенные задачи, будь то объяснение наблюдаемых событий и адаптация либо репрезентация опыта, сознательный обман или эксперимент с общественными нормами и границами реальности. Таким образом, точкой пересечения концепций моральной паники и остенсии оказывается наличие заинтересованных акторов, чьи действия, будучи автономными и как минимум не вполне согласованными, подчиняются, тем не менее, общему повествовательному фрейму.

Эмпирическая часть доклада, посвященная соотношению и взаимодействию фольклорных сюжетов, конспирологического воображения и социального действия, демонстрирует применимость высказанных методологических соображений к истории массовой культуры и политических кампаний в России.

Анна Разуvalова

«РЕАБИЛИТАЦИЯ» ЗАГОВОРА В ПОЗДНЕЙ ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ АЛЕКСАНДРА ПРОХАНОВА

Конспирологические построения А. Проханова связаны, во-первых, с постмодернистской *conspiracy culture* и характерным для нее переживанием всепроникающей, но трудно идентифицируемой опасности, во-вторых, с классической «политической демонологией» сталинского периода. В ряде романов 1990-х – начала 2000-х годов, стараясь выплеснуть переживание «массово-воспроизводимой травмы» (М. Рыклин), писатель следовал новым на тот момент эстетическим трендам, включавшим постмодернистскую «игру» с языком и сюжетными моделями конспирологии. Однако типичное для *conspiracy culture* ощущение экзистенциальной и эпистемологической неопределенности оказывалось для него трудно переносимым, и в результате он обычно регрессировал к апробированным формам «политической паранойи». На мой взгляд, в прозе Проханова последних десяти лет происходит политико-идеологическая легитимация этих, восходящих к 1930-м – началу 1950-х гг., форм, которые последовательно адаптируются писателем к реалиям эпохи медиа-технологий. Отождествление писателем механизмов создания и осуществления заговоров с современными политехнологиями естественно повлекло за собой инструментализацию конспирологического дискурса. Последняя будет рассмотрена в докладе в контексте развития отечественной «культуры воздействия» (то есть институций, ответственных за разработку идеологии и методик ведения «информационных войн») и «субкультуры постсоветского радикального консерватизма» (М. Энгстром), озабоченного созданием

нового имперского мифа.

Светлана Тамбовцева

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО, АСТРОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА И ДРУГИЕ КРИПТОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ НА СЪЕЗДЕ «ВСЕЯСВЕТНАЯ ГРАМОТА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ»

В субкультуре, возникшей вокруг «ВсеЯСветной Грамоты», конспирологические установки ее adeptов находят криптолингвистическое воплощение. Идеологически ангажированная версия альтернативной истории, эксплицитные языковые идеологии, «кодифицированные» в среде приверженцев учения, представляют собой тот материал, знакомство с которым можно осуществить через посредство производимых вокруг «ВсеЯСветной Грамоты» текстов. Полевые наблюдения, с другой стороны, позволяют пролить свет на существование и трансформацию этих текстов в коммуникативном контексте, на характер герменевтической деятельности, на те практики, которые объединяют разнородную по своему гендерному, возрастному, профессиональному и региональному бэкграунду группу участников съезда.

В докладе будут обсуждаться стратегии и средства, при помощи которых конспирологический характер движения манифестирует себя в коммуникации, системе запретов (в частности, речевых), дискурсивных практиках. Попытка рассмотреть деятельность движения в более широком контексте культуры Нью Эйдж также представляется плодотворной: криптолингвистические установки группы обретают телесное измерение в таких практиках, как «Душевно-Духовно-Телесно-Плотиевая Гимнастика», ритуальный компонент в которых очень значим.

Доклад основан на полевых материалах, собранных на съезде «ВсеЯСветная Грамота Шагает по Планете» 10–11 июля 2017 года в деревне Орлово Сандогорского района Костромской области.

Максим Томчин

«ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ» В КРЕСТЬЯНСКИХ НАРРАТИВАХ ЭПОХИ НЭПА

Для Советского Союза эпохи новой экономической политики (1921-1928 гг.) был характерно разделение на два общества и, соответственно, на два информационных поля. С одной стороны, существовал официальный коммунистический дискурс, для которого было характерно колониальное отношение к массам сельского населения, с другой – неформальный, «кулацкий». Несмотря на то, что они существовали параллельно друг другу, имело место и некоторое взаимодействие. Многие крестьянские нарративы, противостоящие официальному дискурсу, инкорпорировали отдельные факты из советских газет, которые приобретали новую, конспирологическую и эсхатологическую интерпретацию. Действия и заявления власти (которая воплощалась в собирательном образе «коммуниста») часто воспринимались представителями сельских сообществ как непосредственная угроза. В результате появлялась потребность в «избавлении», что отразилось на крестьянских сообщениях о расправах, которые в эти годы были чрезвычайно распространены.

Идиоматическая конструкция «варфоломеевская ночь», которая вошла в массовое употребление в период революции и гражданской войны, занимает видное место в крестьянских нарративах 1920-х годов. Она могла означать расправу, ожидаемую или уже совершенную, как над крестьянами, так и над представителями советской власти. Кроме

того, жертвами «варфоломеевской ночи» неподцензурных текстов могли стать дети или домашний скот. Многие слухи о расправах носили конспирологический характер. В некоторых сообщениях «варфоломеевская ночь» приобретала эсхатологическую интерпретацию и становилась семантически близка к библейскому Страшному суду, «воробьиной ночи» восточнославянского фольклора, а также евангельскому избению младенцев.

Сергей Штырков

ПРАВОСЛАВНАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ КОНЦА XX ВЕКА В ПОИСКАХ СМЫСЛА МИРОВОЙ ИСТОРИИ: СЛУЧАЙ МИТРОПОЛИТА ИОАННА (СНЫЧЕВА)

Если оценивать весь репертуар конспирологических нарративов, циркулирующих среди православных верующих России, то можно сказать, что ряд идей остается устойчиво популярным уже более 25 лет и представляет собой чуть ли не повседневное знание среднего православного христианина. Они касаются определенного круга сюжетов об истории, современном состоянии и будущем России и мира и строятся в основном на образе тайной войны против русского народа и православной церкви. Базовые идеи и образы этой теории заговора содержатся в работах митрополита Санкт-Петербургского и Ладужского Иоанна (Снычева). Они вышли в 1992-1995 годах, много раз переиздавались в разных форматах и остаются очень популярными среди политически активных православных активистов. Конспирология митрополита Иоанна строится не просто на наборе идей, но скорее на дискурсивном навыке выстраивания историософских аргументов. Этот навык предполагает, что объяснения разных планов – эсхатологические, сотериологические, политологические – должны сопоставляться в рамках одного текста, входить в конфликт и приводить к открытию скрытых смыслов всем хорошо известных событий. Интересно, что этот аналитический инструментарий, в отличие от многих других конспирологических построений, предполагает обнаружение «духовных» смыслов истории, не доступных самим заговорщикам, предстающим в качестве рационально мыслящих, но, при этом, не понимающих природы действий, которые они сами совершают.

Семинар проводится при поддержке Российского научного фонда, проект № 14-18-02952-П («Конспирологические нарративы в русской культуре XIX – начала XXI вв.: генезис, эволюция, идейный и социальный контексты»).